

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7
«Россия как метод»	19
Глава 1. Научная история и единство науки	29
<i>Два движения за единство науки</i>	31
<i>История и позитивизм</i>	43
<i>История науки и исторический синтез</i>	54
<i>Политика синтеза</i>	62
Глава 2. Научная история и Россия	68
«Россия и Запад»	68
<i>История и марксизм</i>	76
«Великий перелом»	85
<i>Комиссия по истории знаний</i>	89
<i>Лондон, 1931</i>	95
Глава 3. Николай Вавилов, геногеография и будущее истории 102	
<i>География истории и генетический архив</i>	104
<i>Менделеев биологии</i>	112
<i>Геногеография и геополитика</i>	121
«Новый вид истории»	135
<i>Политика истории</i>	140
Глава 4. Холодные войны Джулиана Хаксли	147
<i>Две карьеры Джулиана Хаксли</i>	149
<i>Путешествие в будущее</i>	160
<i>Кризис советской генетики и холодные войны Джулиана Хаксли</i>	167
<i>Эволюционная история</i>	181
Глава 5. Научная история под эгидой ЮНЕСКО	187
<i>Коллективная история</i>	189
«Тетради мировой истории»	202
<i>Интернационализм холодной войны и производство исторического знания</i>	210

Глава 6. Историческая информатика	224
<i>Информационный социализм Д.Д. Бернала</i>	<i>225</i>
<i>История как наука о данных.</i>	<i>237</i>
<i>Историки и компьютеры</i>	<i>248</i>
<i>Социалистический рынок для капиталистической продукции</i>	<i>255</i>
Эпилог: От «конца истории» к «Большой истории»	270
<i>История науки и научная история.</i>	<i>276</i>
Сокращения	281
Указатель имен	282

Введение

В конце 1931 года Арнольд Тойнби, работая над очередным томом своей монументальной сводки международной политики, охарактеризовал прошедший год как *annus horribilis*, или «смутное время», когда «по всему миру люди всерьез размышляли о вероятном крушении западной системы общества»¹. Одновременно Тойнби работал над другим трудом, емко озаглавленным «Изучение Истории» (*A Study of History*). Тойнби надеялся, что история возникновения, роста, крушения и распада древних цивилизаций и культур, которые также прошли свои «смутные времена» в глубоком прошлом, может помочь понять причины и последствия «смутного времени», выпавшего на долю его поколения².

На протяжении большей части XX века Тойнби был одним из самых читаемых, переводимых и обсуждаемых историков. В мере, сравнимой с его успехом у широкого читателя, он был непопулярен среди коллег-историков, многие из которых высмеивали его морализирующий тон и отвергали его метод: Тойнби считал, что все научные методы хороши, и призывал историков дополнять традиционные исторические источники данными археологии, социологии, биологии, антропологии, лингвистики, палеонтологии и других дисциплин³. Однако

¹ Arnold J. Toynbee, *Survey of International Affairs*, 1931. (London: Royal Institute of International Affairs), 1.

² Arnold J. Toynbee, *A Study of History*, vol. I, *Introduction: The Geneses of Civilizations* (London: Oxford University Press, 1934), 172–177. См. обсуждение в статье: Ian Hall, “‘Time of Troubles’: Arnold J. Toynbee’s Twentieth Century,” *International Affairs* 90 (2014): 23–36.

³ Ian Hall, “The ‘Toynbee Convector’: The Rise and Fall of Arnold J. Toynbee’s Anti-Imperial Mission to the West,” *European Legacy* 17, № 4 (2012): 455–69; и “‘Time of Troubles’”.

большинство критиков разделяли с Тойнби его убеждение в том, что для изучения как прошлого, так и настоящего необходимо объединение всех заинтересованных ученых, невзирая на их дисциплинарную принадлежность. Так же как и Тойнби, многие его современники полагали, что на чаше весов было ни много ни мало как выживание западной цивилизации.

Настоящая книга посвящена масштабным экспериментам с методом и практикой написания истории, которые предпринимались в XX веке в разные периоды «смутных времен» — от кризисов, предшествовавших Первой мировой войне, до кризисов холодной войны. В основе этой книги лежат переплетающиеся траектории шести колоритных фигур и их программ новой, «научной истории»: последователя Огюста Конта и философа истории Анри Берра (1863–1954); политика Н. И. Бухарина (1888–1938), чей трагический конец вдохновил писателя Артура Кёстлера на сочинение его знаменитого политического триллера *Спящая тьма*; генетика Н. И. Вавилова (1887–1943), разделившего судьбу Бухарина несколькими годами позже; французского историка и со-основателя историографической школы Анналов Люсьена Февра (1878–1956); и двух биологов — Джулиана Сорелла Хаксли (1887–1975) и Джона Десмонда Бернала (1901–1971), — проживших достаточно долго, чтобы стать свидетелями двух мировых войн и, в разгар холодной войны, высокой вероятности третьей. Что может быть общего у таких разных людей, принадлежавших к разным поколениям, преследовавших разные цели, придерживавшихся разных политических взглядов и говоривших на разных языках? То, что их объединяло и между собой, и со многими другими учеными-естественниками, историками, журналистами, активистами и предпринимателями, — это стремление переосмыслить границы, инструменты и методы написания истории. Эта книга прослеживает историю взаимодействий между историками и учеными-естественниками, которые обменивались методами, подходами и предметами своих исследований с конца XIX века, когда профессиональные историки начали использовать разделение на естественные и гуманитарные науки для легитимации их дисциплины, и на

протяжении XX века, когда это разделение утвердилось как само собой разумеющийся факт¹.

В последние годы историки начали вновь обращаться к естественным наукам. Сторонники «био-истории» и «глубинной истории» призывают пересмотреть ставшие общим местом представления о самом определении истории, ее методах и ее доказательной базе². Участники проекта так называемой «Большой истории» утверждают, что пора объединить «две культуры» естественных и гуманитарных наук, и призывают историков рассматривать историю человечества в контексте истории Вселенной и поддерживать диалог с представителями биологии, геологии и других дисциплин³. На смену культурному, лингвистическому, транснациональному и прочим историографическим «поворотам», прокатившимся в конце XX века, история, как кажется, переживает свой «научный поворот» в первых десятилетиях XXI века.

Историки, однако, прекрасно знают, что кажущиеся революционными «повороты» в их дисциплине на самом деле имеют длинные корни⁴. Историзация «поворотов» в историографии часто выводит на авансцену сложный набор подходов, возможностей и интеллектуальных выборов, не просто заставляющих усомниться в их притязаниях на новизну, но поднимающих по-настоящему интересные вопросы, позволяющие поместить очередной «поворот» в его исторический контекст. Что касается

¹ Легко предположить, что у этих масштабных программ была также и сильная гендерная составляющая: не случайно то, что все без исключения герои данной истории — это мужчины, обладающие политическим авторитетом и влиянием. Хотя гендерный аспект оставлен за рамками этой книги, «научная маскулинность» могла бы быть продуктивной оптикой для этой истории. О концептуализации «маскулинности» в науке см.: “Scientific Masculinities,” ed. Erika Lorraine Milam and Robert A. Nye, special issue, *Osiris*, vol. 30, № 1 (2015).

² См., например: Julia Adeney Thomas, “History and Biology in the Anthropocene: Problems of Scale, Problems of Value,” *American Historical Review* 119, № 5 (2014): 1587–1607; и Daniel Lord Smail, *On Deep History and the Brain* (Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 2008). Более подробно см. ниже, во Введении.

³ David Christian, “Bridging the Two Cultures: History, Big History, and Science,” *Historically Speaking* 6, № 5 (2005): 21–26.

⁴ См.: “AHR Forum: Historiographic ‘Turns’ in Critical Perspective,” *American Historical Review* 117, № 3 (2012): 698–813.

«научного поворота» в историографии, в XIX веке те, кто называл себя «историками», по большей части имели те же интересы, что и ученые-естественники, и охотно прибегали к таким методам естественных наук, как статистика — область сама по себе принадлежащая обеим из «двух культур»¹. Профессионализация истории во второй половине XIX века не столько обозначила границу между историей и естественными науками, сколько изменила само-репрезентацию историков как ученых-гуманитариев, с их специфическими методами, отличными от методов их коллег-естественников. Это проявилось, в частности, в том, что взаимосвязи историков и естественников были исключены из исторических описаний историков об их дисциплине. В результате такой коллективной амнезии «научный поворот» сегодняшнего дня кажется чем-то революционным и новаторским. Однако, как показывает эта книга, разнообразные «научные повороты» совершались в исторической науке многократно со времени появления профессиональной истории как самостоятельной дисциплины.

Первым «научным поворотом» в историографии можно считать само установление истории как дисциплины в конце XIX века, когда на семинарах Леопольда фон Ранке были установлены научные стандарты исторического доказательства и профессиональной истории, основанной на дотошном изучении и критике сохранившихся в архивах документов — практики, ставшей символом исторической профессии, начиная с конца XIX века². Однако можно также говорить и о другом «научном повороте» в истории, обусловленном современным развитием биологии: сначала в форме характерных для историков и биологов XIX века аналогий между биологической эволюцией и историческим развитием, а затем, в начале XX века,

¹ Theodore M Porter, *The Rise of Statistical Thinking, 1820–1900* (Princeton: Princeton University Press, 1986).

² См.: Antony Grafton, *The Footnote: A Curious History* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997), 34–61 (“*Ranke: A Footnote about Scientific History*”). Общий очерк становления профессиональной истории см., например: Anna Green and Kathleen Troup, *The Houses of History: A Critical Reader in Twentieth-Century History and Theory* (New York: New York University Press, 1999), в особенности Глава 1.

в форме попыток некоторых историков использовать генетику для преодоления исторического детерминизма, которым характеризовались эволюционные объяснения исторического процесса. В первые десятилетия XX века многие ученые и историки стали видеть новоиспеченную дисциплину — историю науки — как мостик между гуманитарными и естественными науками, и это во многом определяло то, как история науки практиковалась в это время. После окончания Второй мировой войны появление компьютеров стимулировало создание новых способов анализа данных и развитие уже существовавших количественных приемов и методов сбора, агрегации и обработки данных в историческом исследовании. Одновременно, и в контексте другого «научного поворота», были попытки применения практики «Большой науки» к написанию истории, в частности среди участников больших международных проектов под эгидой ЮНЕСКО. Все перечисленные примеры можно с полным основанием назвать «научными поворотами», однако ни об одном из них не упоминается в описаниях современных историков, размышляющих о формах взаимодействия истории с естественными науками, при которых историки и естествоведы различают свои методы, но в то же время находят способы «взаимного дополнения»¹. Я называю этот проект *научной историей*. В этой книге прослеживается забытая история научной истории на протяжении XX века.

Написать историю научной истории во всех ее проявлениях и формах было бы необъятной задачей. Эта книга по необходимости выборочна и не претендует на исчерпывающее изложение научной истории во всех ее многообразных вариантах. Скорее это очерк истории представлений о том, как идеи, методы и практики генетики, ботаники или информатики оказались востребованными историками, а также о том, какое влияние история может оказать на эти науки и почему это важно. В основе этой книги лежат жизненные траектории конкретных людей. Многие из них — например, историки, связанные

¹ Thomas, “History and Biology in the Anthropocene,” 1603.

с историографической школой *Анналов*, или такие биологи, как Джулиан Хаксли, Н. И. Вавилов и Джон Десмонд Бернал — будут знакомы читателю из существующей литературы. Однако связи между этими историками и этими (и другими) биологами не были до сих пор предметом внимания историков. Между тем, переплетения жизненных путей ученых и историков помогают поместить «научные повороты» в их исторические контексты.

В переплетении судеб ученых и историков, разбираемых в этой книге, есть общая тема: все шесть главных героев этой книги были участниками международных конгрессов по истории науки. Именно поэтому они знали друг друга и встречались друг с другом — или, по крайней мере, были в одних и тех же местах в одно и то же время и по одной и той же причине. Берр, Бухарин, Вавилов, Хаксли и Бернал участвовали во втором международном конгрессе по истории науки и технике, состоявшемся в Лондоне в 1931 году, том самом *annus horribilis*. Двумя годами ранее Берр приветствовал участников Первого международного конгресса по истории науки, который состоялся в Париже в его собственном институте, Международном центре исторического синтеза (*Centre international de synthèse*). Февр, возглавлявший Центр вместе с Берром, был участником первой «недели синтеза», в рамках которой состоялся и конгресс историков науки. Для участников этих конгрессов история науки виделась особым метанаучным проектом, целью которого было, по словам Берра, «установить прочную связь между естественными и гуманитарными науками»¹.

Разные герои этой книги по-разному представляли себе связь между гуманитарной историей и естественными науками через посредство истории науки. Берр (Глава 1) и Бухарин (Глава 2) примиряли историю с наукой в рамках соперничающих между собой концепций единства знания, укорененных в двух

¹ Henri Berr, “Rapport sur l’organisation matérielle et la vie scientifique du Centre” (1929), цит. по: Michel Blay, “Henri Berr et l’histoire des sciences,” *Henri Berr et la culture de XX^e siècle: Histoire, science et philosophie: Actes du colloque international 24–26 octobre 1994, Paris* (Paris: Albin Michel, 1997), 121–138, 133. Об истории этих конгрессов см. ниже, Глава 1.

центральных интеллектуальных системах XIX века — позитивизме и марксизме — применительно к истории и историческому методу. Международные конгрессы историков служили ареной, на которой в начале 1930-х годов разыгрывались драматические столкновения этих двух соперничающих программ: позитивной философии Конта (в ее преимущественно французском варианте) и марксистской философии (в ее раннесоветской версии). Драматическое появление Берра и Бухарина в программе специальной сессии, посвященной историческому синтезу, спланированной во время Лондонского конгресса 1931 года и состоявшейся (уже без Бухарина) на конгрессе в Варшаве в 1933 году, подготовило почву для событий, описанных в последующих главах книги.

Глава 3 посвящена другому участнику Лондонского конгресса 1931 года — генетику Николаю Ивановичу Вавилову — и его работе о центрах происхождения культурных растений, которую он представил на конгрессе. После конгресса Февр и другие французские историки, имевшие опыт участия в «неделях синтеза» Бера, заинтересовались работой Вавилова и обсуждали ее на страницах *Анналов*. Для этих историков геногеография Вавилова казалась новым мостиком между биологией и историей, обещающим заменить дискредитировавшие себя построения эволюционистов XIX века.

Хотя во второй половине XX века позиционирование истории науки как гуманитарной дисциплины стало определяющей чертой ее дисциплинарной идентичности в англоязычном академическом пространстве, программы «научной истории», в которых история науки преподносилась в качестве мостика между естественными науками и историей, продолжали находить себе институциональные ниши, часто вне академии или под эгидой новых международных научных организаций. В следующих двух главах (4 и 5) прослеживается история совместной работы историка Февра и биолога Джулиана Хаксли, еще одного участника Лондонского конгресса 1931 года, над проектом «История человечества: Культурное и научное развитие» под эгидой ЮНЕСКО. Проект имел целью написание новой

истории современного мира, в которой истории науки отводилось центральное место. По мнению Хаксли, после войны возглавившего новую международную организацию в качестве ее первого директора, «История человечества» была «ключевым проектом» ЮНЕСКО.

Цифровая гуманитаристика (англ. Digital Humanities) — это та область, в которой культуры естественных и гуманитарных наук, казалось бы, объединяются сегодня после долгого размежевания. История науки и в данном случае выступала связующим звеном. Глава 6, прослеживающая связи между компьютерами, автоматизированной обработкой данных и написанием истории, начинается, как и другие главы, с Лондонского конгресса 1931 года. В центре этой главы еще один участник конгресса — биолог и информационный визионер Дж. Д. Бернал. Программа информационного социализма Бернала любопытным образом пересеклась с жизненной траекторией филладельфийского предпринимателя и создателя Индекса цитирования (англ. *Science Citation Index*) Юджина Гарфилда, видевшего в истории прежде всего науку о данных и использовавшего именно историю науки для обкатки Индекса цитирования¹.

Я использую термин *научная история* для обозначения этих очень разных программ и визионерских проектов. Семантически этот термин может показаться спорным в связи с его полифоничностью. В исторической литературе ярлык «научная история» иногда применяется к историографической школе Ранке, но также используется и в более широком смысле. Прилагательное *научный* является общепринятым синонимом слова *объективный*, в смысле идеала объективности, ассоциируемого с наукой, или в качестве ироничного обозначения попыток открыть «законы истории» или объяснить общество и его историю подобно тому, как астрономы объяснили

¹ Легко видеть, что у этих масштабных программ была также и сильная гендерная составляющая: не случайно то, что все без исключения герои данной истории — это мужчины, обладающие авторитетом и политическим влиянием. Для обсуждения «научной маскулинности» см. сборник “Scientific Masculinities,” ed. Erika Lorraine Milam and Robert A. Nye, special issue, *Osiris*, vol. 30, № 1 (2015).

движение планет¹. Вдобавок прилагательное *научный* имеет разные коннотации в разных языках. В отличие от английского языка, в немецком, французском и русском языках история называется *наукой* (как в выражении «историческая наука»), и в соответствующих академических традициях противопоставление между гуманитарными и естественными науками не так выражено, как в англоязычном академическом пространстве.

При всей полифонии термина «*научная история*», есть одно обстоятельство, которое, как мне кажется, оправдывает его использование как собирательного термина для описываемых в этой книге программ и практик. В первые десятилетия XX века ученые и гуманитарии, называющие себя историками науки, употребляли термины *история науки* и *научная история* как взаимозаменяемые². Такая семантическая подмена подчеркивала то раннее представление об истории науки как гибридной и междисциплинарной области, играющей роль связующего звена между естественными и гуманитарными науками, которое использовалось для легитимации истории науки как самостоятельной области на стыке гуманитарных и естественных наук³.

¹ Чтобы составить представление о различных употреблениях термина *научная история*, см.: Peter Novick, *That Noble Dream: The "Objectivity Question" and the American Historical Profession* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988); Joyce Appleby, Lynn Hunt, and Margaret Jacob, *Telling the Truth about History* (New York: Norton, 1994); Georg G. Iggers, *Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge* (Middletown, CT: Wesleyan University Press, 1997); Green and Troup, *The Houses of History*; Rens Bod, Jaap Maat, and Thijs Weststeijn, eds., *The Making of the Humanities*, vol. 3, *The Modern Humanities* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2014); и Ian Hesketh, *The Science of History in Victorian Britain* (London: Pickering & Chatto, 2011).

² См., например: A. K. Mayer, "Fatal Mutilations: Educationism and the British Background to the 1931 International Congress for the History of Science and Technology," *History of Science* 40, № 4 (2002): 445–472.

³ Имеет смысл вспомнить разделение между категориями, используемыми современными интерпретаторами или аналитиками (analytic categories), и категориями, использовавшимися историческими фигурами (actors' categories). В этом смысле в данной книге термин «научная история» используется как категория, взятая у самих фигурантов исторического процесса. Внимание к категориям, используемым учеными в прошлом (actors' categories), стало преобладающим методом в истории науки с 1970-х годов. См.: Gowan Dawson and Bernard Lightman, *Victorian Scientific Naturalism: Community, Identity, Continuity*, ed. Gowan Dawson and Bernard Lightman (Chicago: University of Chicago Press,

Несмотря на то что дисциплинарные границы истории науки со временем сузились, это раннее представление об истории науки как о мостике между гуманитарной историей и естественными науками продолжало существовать. Среди историков и ученых-естественников, занимавшихся историей науки, было много тех, кто стремился совмещать идеи, технические приемы, практики и подходы естественных наук в написании истории науки. К «научным историкам» принадлежал и, пожалуй, самый известный историк науки, Томас Кун, с именем которого часто связывается решительный поворот в истории науки к самоидентификации как прежде всего исторической дисциплине. Как обсуждается в Эпilogue, сам Кун считал, что его неправильно поняли. Данная книга проливает свет на эту сегодня забытую школу мысли.

Живя в эпоху так называемого *антропоцена*, все больше историков сегодня задумываются о том, что может означать осознание масштаба изменений окружающей среды в результате человеческой деятельности для исторической науки XXI века¹. Историк Дипеш Чакарбарти в своем влиятельном эссе писал, что антропоцен помещает историю человечества в контекст истории геологических эпох, ставя под вопрос то понимание исторического времени, к которому историки привыкли и который принимают как данное². По словам Чакарбарти, «осознание глобального изменения климата в результате человеческой деятельности разрушает концептуальное разделение между естественной историей и историей человечества, сыздавна выстраиваемое гуманитариями»³.

Осознание того, что глобальная трансформация окружающей среды меняет как землю, так и человеческое общество, все

2014), 1–26, 2 (Введение). Об амбициозных планах первых профессиональных историков науки см.: Anna-K. Mayer, “Roots of the History of Science in Britain, 1916–1950” (PhD diss., University of Cambridge, 2003). Я выражаю благодарность Анне Майер за содержательные беседы, сыгравшие ключевую роль в формировании концепции этого проекта.

¹ Thomas, “History and Biology in the Anthropocene,” 1603.

² Dipesh Chakrabarty, “Anthropocene Time,” *History and Theory* 57 (2018): 5–32.

³ Dipesh Chakrabarty, “The Climate of History: Four Theses,” *Critical Inquiry* 35, № 2 (2009): 197–222, 201.

больше влияет на работу современных историков. На страницах влиятельных исторических журналов все чаще поднимается вопрос о принятых в исторической профессии представлениях о масштабах исторического процесса и соизмеримости точек зрения, подходов и методов гуманитарной истории и естественных наук (или отсутствии такой соизмеримости)¹. Такие программы, как «Большая история», «глубинная история» или «био-история», стремятся сформулировать способы конструктивного взаимодействия с естественными науками². Но у этих программ тоже есть прошлое. Историки науки, в частности, начинают картографировать эту обширную территорию, находя корни и резонансы современных проектов «больших» и «глубинных» историй в разнообразных научных программах XIX и XX веков³.

Опираясь на эти работы моих коллег, в этой книге я переносю центр внимания на историю истории науки, рассматривая ее как ключевой исторический контекст сегодняшнего «научного поворота» в исторической науке. Как я показываю на последующих страницах, история истории науки сама по себе поучительна для понимания исторического контекста сегодняшних попыток наведения мостов между историей и естественными науками, поскольку она проливает свет на междисциплинарные программы, в рамках которых историки и естественники взаимодействовали, научные практики, которые делали это взаимодействие возможным, и политические цели, которые ставились

¹ См., например: Sebouh David Aslanian, Joyce E. Chaplin, Kristin Mann, Ann McGrath, “AHR Conversation: How Size Matters: The Question of Scale in History,” *American Historical Review* 118, № 5 (2013): 1431–1472.

² См., например: David Christian, *Maps of Time: An Introduction to Big History* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2004); и Smail, *On Deep History and the Brain*. Доброжелательное обсуждение этих подходов историками, которые необязательно разделяют те же взгляды, см., например: David C. Kraukauer, John Lewis Gaddis, Kenneth Pomerantz, eds., *History, Big History, and Metahistory* (Santa Fe, NM: Santa Fe Institute, 2017).

³ Marianne Sommer, *History Within: The Science, Culture, and Politics of Bones, Organisms, and Molecules* (Chicago: University of Chicago Press, 2016); Nasser Zakariya, *A Final Story: Science, Myth, and Beginnings* (Chicago: University of Chicago Press, 2017); и Deborah R. Coen, *Climate in Motion: Science, Empire, and the Problem of Scale* (Chicago: University of Chicago Press, 2018).

этимидисциплинарными программами и их участниками¹. По мере того как история науки укрепляла свои позиции на исторических факультетах университетов, историки науки дистанцировались от естественно-научных корней своей дисциплины². Однако один из выводов этой книги заключается в том, что сегодняшняя историчность истории науки не противоречит гуманитарной программе ее создателей, ставящей целью примирение исторического понимания и естественно-научного объяснения³. Прослеживаемые на страницах этой книги исторические сюжеты, разворачивавшиеся в лиминальных пространствах на периферии дисциплин, происходящие вне традиционных дихотомий или вопреки им, высвечивают

¹ История науки служила многим разным целям и решала разные интеллектуальные и политические задачи. Сюжет, изложенный в этой книге, — лишь один из множества сюжетов истории этой дисциплины. Краткий исторический очерк истории науки см.: Lorraine Daston, “History of Science,” в *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, ed. Neil J. Smelser, Paul B. Baltes (London: Pergamon, 2001), 6842–6848. Более подробные очерки интеллектуальной истории, культурной политики и интеллектуальной повестки истории науки см. в следующих работах: John R. R. Christie, “The Development of the Historiography of Science,” в *Companion to the History of Modern Science*, ed. R. C. Olby, G. N. Cantor, J. R. R. Christie, M. J. Hodge (London: Routledge, 1990), 5–22; Rechel Laudan, “Histories of the Sciences and Their Uses: A Review to 1913,” *History of Science* 31, № 1 (1993): 1–34; Michael Aaron Dennis, “Historiography of Science: An American Perspective,” в *Science in the Twentieth Century*, ed. John Krige and Dominique Pestre (Amsterdam: Harwood, 1997), 1–26; Anna-K. Mayer, “Setting Up a Discipline: Conflicting Agendas of the Cambridge History of Science Committee, 1936–1950,” *Studies in History and Philosophy of Science, Part A* 31, № 4 (2000): 665–689; и Lorraine Daston, “The History of Science as European Self-Portraiture,” *European Review* 14, № 4 (2006): 523–525, и “The Secret History of Science and Modernity: The History of Science and the History of Religion” (доклад представлен на конференции “The Engine of Modernity: Construing Science as the Driving Force of History in the Twentieth Century,” Columbia University, New York, May 2–3, 2017).

² См., например: Lorraine Daston, “Science Studies and the History of Science,” *Critical Inquiry* 35, № 4 (2009): 798–813.

³ О концептуальном различии между научным объяснением и историческим пониманием см. ниже, Глава 1. Об обсуждении исторического понимания как проблемы естественных наук см.: Anna-K. Mayer, “Setting Up a Discipline, II: British History, 1948,” *Studies in History and Philosophy of Science, Part A* 35 (2004): 41–72, в особенности 43–55. О философском осмыслении исторического понимания как научной проблемы см.: Henk De Regt, Sabina Leonelli, Kai Eigner (eds.), *Scientific Understanding: Philosophical Perspectives* (Pittsburgh, PA: University of Pittsburgh Press, 2009), в особенности 189–209 (Sabina Leonelli, “Understanding in Biology: The Impure Nature of Biological Knowledge”).

многообразные, неоднозначные и сложные взаимоотношения между естественными науками и историей¹.

«Россия как метод»

Историки неоднократно замечали, что география является мало отрефлексируемым методом в истории². Сравнительно недавно этот вопрос дискутировался среди историков науки в отношении концепции «Азии как метода» — подхода, в рамках которого историки начали пересматривать историю «проекта модерна» (англ. Modernity), традиционно укорененного в европейской интеллектуальной традиции, позиционируя Азию в качестве географического центра глобальной истории современности³. В рамках этой методологической стратегии «многообразие, неоднозначность и неопределенность понятия *Азия*» используется как полезная эвристика, позволяющая «получить в распоряжение историков более содержательный исторический материал и менее противоречивый инструментарий, чем это позволяют другие концептуальные схемы — как, например, неуклюжая концепция “глобального Юга”»⁴. Историки, работающие на материале таких вненациональных географических

¹ Я использую понятие *лиминального пространства* в том смысле, в котором его использовала историк Джоанна Бокман, т. е. для описания тех случаев, когда новое знание производится вне традиционных систем классификации, иерархий знания и политических дихотомий, или вопреки им. См.: Johanna Bockmann, *Markets in the Name of Socialism: The Left-Wing Origins of Neoliberalism* (Stanford, CA: Stanford University Press, 2011).

² Одним из ранних примеров подобного рассуждения может быть книга Февра и Батайона: Lucien Febvre, Lionel Bataillon, *Geographical Introduction to History*, trans. E. G. Mountford, J. H. Paxton (New York: Knopf, 1925).

³ См., например: Fa-ti Fan, “Modernity, Region, and Technoscience: One Small Cheer for Asia as Method,” *Cultural Sociology* 10, № 3 (2016): 352–368; и Warwick Anderson, “Asia as Method in Science and Technology Science,” *East Asian Science, Technology and Society* 6, № 4 (2012): 445–451. О роли истории науки в конструировании понятия европоцентричной модерности см.: Daston, “The History of science as European Self-Portraiture”; и Marwa Elshakry, “When Science Became Western: Historiographical Reflections,” *Isis* 101, № 1 (2010): 98–109.

⁴ Fan, “Modernity, Region, and Technoscience,” 363.

регионов, как Латинская Америка, Африка, Атлантический мир (англ., Atlantic world) и мир Индийского океана (англ., Indian Ocean world) — то есть географических и геополитических пространств, не укладывающихся в границы традиционных наций и государств, — также прибегают к географическому «объективу» в качестве стратегии для того, чтобы раздробить, регионализировать или другим образом выбить традиционно европоцентричную мировую историю из проторенной колеи¹.

По аналогии с исследовательским подходом «Азия как метод», в котором географический регион используется в качестве метода исторического исследования, я предлагаю «Россию как метод» для репозиционирования традиционно европоцентричной и как бы универсальной аналитической оптики самой исторической науки². Использование «России как метода» для рассмотрения разных историографических направлений, таких как историографическая школа *Анналов*, количественная история и всемирная история, позволяет высветить циркуляцию и модификацию знаний, практик и философских систем, связанных с научной историей³. С конца XIX и на протяжении

¹ См. обсуждение вопроса в Fan, “Modernity, Region, and Technoscience”. О подходе, в котором океаны рассматриваются как важнейшие центры мировой истории, см. David Armitage, Alison Bashford, Sujit Sivasundaram (eds.), *Oceanic Histories* (Cambridge: Cambridge University Press, 2018). Выражаю благодарность Минакши Менон и участникам группы «История науки в Азии: Деколонируя историю науки» (*History of Science in Asia: Decolonizing the History of science*) консорциума по истории науки, техники и медицины (*Consortium for History of Science, Technology and Medicine*), Филадельфия, за информативное обсуждение этой темы.

² Я использую слово «Россия» в том же смысле, что и ученые, использующие термин «Азия» в дискуссиях об «Азии как методе»: то есть в качестве условного обозначения территории Российской империи и Советского Союза, не предполагая при этом никакой эссенциализации ни страны, ни населяющих эти территории разнообразных народов и современных суверенных государств.

³ Сред прочих аналитических подходов, я опираюсь на работы Капила Раджа и Марвы Эльшакри о распространении и передаче знаний. Оба исследователя выявляют сложную сеть разнообразных контактов и взаимоотношений, обеспечивающих процесс обмена знаниями, в ходе которого претерпевают глубокие изменения и так называемое импортируемое знание и усваивающая его сторона. См.: Kapil Raj, *Relocating Modern Science: Circulation and the Construction of Knowledge in South Asia and Europe, 1650–1900* (New York: Palgrave Macmillan, 2006); и Marwa Elshakry, *Reading Darwin in Arabic, 1860–1950* (Chicago: University

большей части XX века Российская империя (а затем Советский Союз) оставалась активной, хотя и не равноправной, участницей движения за научную историю, и в процессе апроприации знаний, практик и философских систем, связанных с научной историей российскими, а затем советскими учеными, эти знания и практики, в свою очередь, изменялись и реконфигурировались в местах их происхождения.

Одна из историй, которая прослеживается на протяжении всей книги, — это история взаимодействий между французскими историками-гуманитариями и советскими учеными-естественниками. Эти взаимодействия оказали важное влияние на историческую науку XX века, однако советская глава в существующей истории историографической мысли остается за интеллектуальным «железным занавесом». Как я показываю в этой книге, история научной истории будет выглядеть совсем иначе, если проследить связи между историей историографии и историей науки в Российской империи и СССР.

Я использую концепцию «Азия как метод» в качестве отправной точки отчасти из-за ее объяснительной силы, а отчасти потому, что между Азией и условно-собирающей «Россией» существуют очевидные исторические параллели и взаимосвязи, как географические, так и исторические. В историческом воображении народов, населяющих обе территории, понятие универсального, абстрактного «Запада» играло и продолжает играть роль важного культурного компаса¹. На протяжении всей

of Chicago Press, 2013). Обсуждение подхода Капиля Раджа к изменчивости научного знания как аналитического ракурса, особенно подходящего для исследования российских/советских гуманитарных и общественных наук, см.: Susan Gross Solomon, "Circulation of Knowledge and the Russian Locale," *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History* 9 (2008): 9–26.

¹ Я использую термин «Запад» по большей части как категорию самих участников исторического процесса (англ., actors' category). Об интеллектуальной истории идеи об универсальном Западе в мусульманском мире см.: Aydin Cemil, *The Politics of Anti-Westernism in Asia: Visions of World Order in Pan-Islamic and Pan-Asian Thought* (New York: Columbia University Press, 2017). Об обсуждении «Запада» как тропа в российском культурном дискурсе см. Главу 2 настоящей книги. Обсуждение ранней постколониальной критики «Запада» как неотрефлексированной категории историков см. Главу 5.

российской истории «Запад» являлся для российских интеллектуалов и реформаторов важнейшим экзистенциальным Другим — иными словами, служа в одно и то же время ориентиром, целью, соперником, которому нужно подражать, объектом желания и ресентимента. Но если разнообразные общества и народы, населяющие огромную территорию собирательной «Азии», сформировали свои собственные культурные, интеллектуальные и экономические традиции, то «Россия» в разных своих ипостасях была и оставалась частью европейской культурной традиции, в которую российские элиты были и оставались интегрированы в разные периоды российской истории. Российский имперский опыт, как показал Александр Эткинд, был гибридным, соединив в себе опыт колонизатора и колонизируемого, западного ориентализма и его объекта. Опыт «внутренней колонизации» сделал Россию «в ее разнообразных проявлениях и периодах... как субъектом, так и объектом ориентализма»: Россия колонизировала саму себя и была ориентализована своими собственными «другими» — европеизированными высшими классами и элитами¹.

Двусмысленное положение «России», подрывающее бинарную оппозицию Запада и его Других, делает ее хорошим «методом» для зондирования интеллектуальной истории историографии, которая обычно сводится к обсуждению вклада западноевропейских интеллектуалов, от Маркса и Ранке до Фуко и Ферро. «Россия как метод» позволяет выявить эпистемологические ограничения использования Запада в качестве универсального метода для изучения истории историографической мысли и исторических методов, которые формировались, как и другие формы знания, в результате культурных обменов и взаимных заимствований, происходивших в разное время в разных регионах мира.

¹ Alexander Etkind, *Internal Colonization: Russia's Imperial Experience* (Cambridge: Polity, 2011). Александр Эткинд. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. (М.: НЛЮ, 2013). См. также: Michael David-Fox, Peter Holquist, Alexander Martin, eds., *Orientalism and Empire in Russia* (Bloomington, IN: Slavica, 2006); и Vera Tolz, *Russia's Own Orient: The Politics of Identity and Oriental Studies in the Late Imperial and Early Soviet Periods* (Oxford: Oxford University Press, 2011).